

ВЛАДИМИР ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ТРОЕ В СЕРЫХ ШИНЕЛЯХ

Повесть

Советский писатель

1949

*Редактор Е. Герасимов
Художник В. Оффман
Тех. редактор С. Симонов*

А06890. Сдано в набор 20/V 1949 г. Подписано к печати 15/VI 1949 г.
Печ. л. 1¹¹/₄. Авт. л. 11,26. Уч.-изд. л. 11,45. Формат бумаги
84 x 10³/₄. Заказ 1401. Тираж 4.000. Цена 7 р.

Типография. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

По университетским аудиториям ходил стекольщик. Сдвигая в сторону некрашенные столы, он стеклил окна. Декан физико-математического факультета доцент Гольдберг открывал сверкающий золотом зубов рот и старательно пускал струйку пара. Посматривая снизу вверх на Черкашина, он говорил:

— А все-таки теплей стало. Не правда ли?

Виктор сердито посвистывал. Ему казалось, что Гольдберг ходит вслед за стекольщиком не потому, что считает это необходимым. Ему просто неудобно перед Черкашиным за свое бездействие. И вот, когда Виктор все устроил, сам договорился с ректором, привел стекольщика, Гольдберг делает вид, что это в порядке вещей. Конечно, он ученый, физик-теоретик. Ему неинтересно заниматься хозяйственными делами. Когда университет возвратился из эвакуации, на факультете нехватало преподавателей. Гольдберг отказывался, но его все-таки назначили деканом.

Виктор демобилизовался в августе, а в сентябре уже слушал лекции Гольдберга на втором курсе. Тогда в аудиториях не было ни дверей, ни стекол, ни столов. Студенты, стоя, вели конспекты. Гольдберг писал формулы углем на стене.

Виктора вскоре избрали в профком. Пришлось часто обращаться к декану. Гольдберг сначала придумал сердитую позу занятого человека. Болтая толстыми ножками, он сидел за столом в кабинете. Морщил широкий лоб и перелистывал журналы по физике.

— Не всё сразу, товарищи, — возмущался он, не отрывая глаз от стола. — Не всё сразу. Совсем недавно окончилась война, не правда ли?

Черкашин не уходил. У него был воинственный вид: серая армейская шинель и поверх — широкий пояс со звездой. Артиллерийская фуражка — по уставу, четыре пальца от бровей. Он еще никак не мог отделаться от привычки козырять старшим по званию. Перед деканом стоял выпрямившись, руки по швам. Когда уходил из кабинета, спрашивал разрешения. Гольдберг отвечал преувеличенно удивленно.

— О, пожалуйста!

Однокурсник Черкашина Борис Ивнев заметил однажды:

— А ты знаешь, Витька, декан тебя побаивается! Грозный ты стал после войны. Гольдберг твоих атак не выдерживает.

Черкашин рассеянно слушал, думая о другом. Что-то нужно было предпринимать, как-то налаживать университетскую жизнь.

Дела на факультете не клеились. Ремонт учебного корпуса затягивался. Гольдберга ругали на всех собраниях:

— Деканат не обеспечил... Деканат не создал условий...

— Простите, какие условия? — спрашивал Гольдберг. — Мы в сорок первом в Казахстане сами себе лабораторию строили. И мороз был. И холод. И работали.

Виктор хмурился и вздыхал: много дела. Счень много. Студенты живут «по углам». Часть учебного корпуса разрушена во время войны. Общежитие готово лишь наполовину.

Сам Виктор поселился у армейского товарища, Саши Попова. Они служили вместе последние три года войны. Саша был сержантом той батареи, которой командовал Черкашин. Теперь они жили в одной комнате, спали рядом. В соседней — Анна Ивановна, мать Саши. Была еще сестра у Попова — Муся. Она жила отдельно, с четырехлетним сыном Мишкой.

Мусин муж погиб на войне. Когда Черкашин появился в доме Поповых, Мишка обрадовался:

— Папа приехал.

Говорили, что Виктор действительно был похож на Мишкиного папу. Но Мишка называл папой и других военных: просто привык к фотографии отца в шинели и фуражке. Отца он никогда не видел.

— Кошунство какое-то, — сердилась Анна Ивановна. — Ребенок не понимает, а вы в детство впали.

О муже своем Муся в разговорах не вспоминала. Виктор знал, что всю войну она прожила с сыном в эвакуации. Она была старше Виктора на два года. Он называл ее на «вы», а она его на «ты». Сначала Черкашин чувствовал себя с ней неловко. У нее было большое горе, и Виктору казалось, что говорить и обходиться с ней нужно как-то особенно.

Иногда она приходила к матери заплаканная и сидела в углу, за самоваром, уткнувшись в какой-то довоенный журнал. Удивленно приподнимала тонкие брови, длинными пальцами перелистывала страницы, поджимая подкрашенные губы. У нее были небольшие, но яркие глаза с короткими ресницами.

Улыбалась она редко. Виктору нравилась ее улыбка: какая-то наивная, детская. Иногда эта улыбка казалась загадочной. Муся чаще всего молчала, а если и шутила, то только с Сашей. Однажды Виктор познакомил с ней Бориса Иванова. Они сидели у Поповых. Анны Ивановны дома не было. Она работала мастером на текстильной фабрике и по вечерам часто задерживалась на заседаниях.

Муся, как всегда, молчала. Она недоверчиво прислушивалась к громкому голосу Бориса, тихонько напевая что-то.

— Я кружок поставлю, как полагается, — шумел Иванов. Его недавно избрали старостой физического кружка. — Кружок — это не ликбез, и там незачем курс общей физики прорабатывать. Я вот с Гольдбергом советовался, он мне тему предложил подходящую. Смотри сюда, Виктор... — Он принялся чертить что-то на листе бумаги.

Борис жадно курил и сбрасывал пепел то в тарел-

ку, то в блюдечко. Муся молча подсовывала ему пепельницу. Виктор хотел было переменить тему разговора. Но Бориса остановить трудно: шумит, кипит, доказывает, спорит. А зачем это все Мусе? Работает она где-то секретарем в канцелярии, даже десятилетка для нее — это далекое детство. Сидит, слушает Бориса, скучает, наверно. Только иногда в ее глазах пробегают искорки улыбки: вот, мол, странного человека ты привел, Виктор.

Черкашину хотелось сказать ей:

«Да, Муся, я понимаю, что вам скучно. Я потому и познакомил вас с Борисом, что он очень веселый человек. А вот сегодня слишком серьезен. Но я знаю, что вы ему понравитесь. Вы никогда не говорите о себе, но у вас есть что-то свое и вы, в конце концов, выскажетесь. Вам трудно, тяжело. Но мы поможем».

Муся вышла в кухню и долго гремела там посудой. Потом пили чай и играли в подкидного дурака. Борис морщил широкий лоб и сосредоточенно разглядывал карты. К игре он отнесся очень серьезно и радовался, когда везло.

— Вы очень азартный, — сказала, наконец, Муся, тасуя колоду. — Нельзя быть таким азартным.

Она играла нехотя, равнодушно, путая королей с валетами. Борис сердился.

Мусю пошел провожать Саша. Борис остался у Виктора. Им нужно было еще подготовиться к завтрашнему семинару. Виктор спросил у Ивнева о Мусе:

— Ну, как тебе она?

Борис стряхнул пепел с папиросы и ответил неопределенно:

— Несимметричная какая-то.

Больше о ней не говорили.

Однажды Саша обратился к Виктору:

— Если вам не неприятно, пускай Мишка вас папой называет. Такое хорошее слово — папа. Я ведь и не знал этого слова. В первый год гражданской отца моего белогвардеец шашкой зарубил.

— До каких пор ты будешь говорить мне «вы»? — запротестовал Виктор, но по существу не ответил.

Саша никак не мог привыкнуть к мирной обстановке. Виктора называл «старший лейтенант». Вставал, когда тот входил.

— Крепко дисциплину помнишь, — улыбался Черкашин. — А ведь и в армии дружили мы здорово.

Саша соглашался. Он не был похож на сестру: приземистый, голубоглазый, светловолосый. Говорил задумчиво:

— Да, дисциплина. Дружили — и не замечали.

Они часто вспоминали военную жизнь. По утрам Черкашин просыпался первым и кричал:

— Подъем!

Саша спросонок совал босые ноги в сапоги. Размахивая полотенцем, Виктор выбегал к умывальнику и командовал:

— Строиться на зарядку!

Анна Ивановна ходила по комнате с длинной щеткой, высматривая паутину. Прикрывая дверь в Сашину комнату, она сердилась:

— Хватит командовать! Накомандовался. Дай отоспаться мальчику.

Виктор заметил, что к прошлой службе сына она относится ревниво. На войне Саша представлялся ей большим начальником. Конечно, были и выше, но те — солидные, пожилые люди. А Виктор — ровесник сыну.

Она часто сердилась, но быстро отходила. Однажды, в воскресенье, весь день в доме были гости. Вечером Виктор сел заниматься, но тут снова постучали. Он вышел отворять и на пороге заметил недовольно:

— Опять черт кого-то несет!

Анна Ивановна крикнула вдогонку:

— Не смей так говорить! Не смей!

Оказалось, что это почтальон ошибся дверью. Анна Ивановна перетирала чашки длинным полотенцем с вышитыми красными петушками. Вздыхала, качала головой, медленно шевелила губами, будто шептала.

— Что ты там бормочешь? — спросил Саша.

— А то, что скоро вы войну забыли. Небось, не

раз вам старушка какая-нибудь приют оказывала. А теперь, пожалуйста, — «черт несет»!

Виктор ничего не ответил. Анна Ивановна тоже помолчала, а потом пригласила Черкашина к чаю. Она улыбнулась, щуря бесцветные глаза, и примирительно сказала:

— Не могу без гостей, вот как хочешь. Не могу, и все. Люблю людей. И чтобы побольше.

— А я люблю тепло, — заметила Муся, кутая плечи в шерстяной платок.

Анна Ивановна взглянула на нее не то сочувственно, не то сердито:

— Это потому, что ты людей сторонисься, Муся. Одна всегда. С людьми теплее.

В доме Поповых постоянно бывали гости. Приезжали дальние родственники, заходили сослуживцы Анны Ивановны, какие-то неизвестные люди оставались ночевать по рекомендации знакомых. Анна Ивановна стелила себе на полу, а временным постояльцам уступала кровать с теплой периной, стулья и подушки. Когда приезжих было слишком много, Виктор и Саша ложились вместе на диване.

В квартире часто появлялся огромный толстый мужчина — Николай Фомич. Он вваливался в комнату с двумя яркооранжевыми фанерными чемоданами. Грязным носовым платком вытирал лоб и шумно садился:

— Прибыли. Галантерея-бакалея. У дядюшки у Якова для баб товару всякого.

Николай Фомич говорил много, охотно, но при этом бегал глазами по стенам и лицам, морщил густые брови, часто моргал, будто обдумывая что-то. До войны он работал инструктором в вечерней школе западных танцев. О теперешней работе своей умалчивал, подробно рассказывая о ценах на продукты и вещи в разных городах.

Даже Анна Ивановна, несмотря на свою любовь к гостям, брезгливо ворчала, когда он уходил:

— Слава богу! Бродяга какой-то. Пристрастился к дому. Говорит, что в командировки ездит...

Но он появлялся снова и снова, и всегда с ночев-

кой. Спал на полу, вытянув длинные ноги в сапогах. По ночам громко храпел, а утром, несмотря на приглашения Анны Ивановны, к столу не садился, а в углу на чемоданах разворачивал пакетик с колбасой и черствым хлебом. Ел быстро, жадно, подбирая с колен крошки.

Однажды, когда Виктор занимался до рассвета, Николай Фомич внезапно вскочил с постели и закричал тонким голосом:

— Станция Разуваевка!

Виктор долго хохотал, а Николай Фомич спросил виновато:

— Какой час? Ересь какая-то приснилась.

Муся потом упрасивала Виктора:

— Расскажи, как это он? Вскочил и кричит: «Разуваевка»? «Станция Разуваевка»?

Она тихо смеялась и, если Виктор молчал, настаивала капризно:

— Ну расскажи. Расскажи же, как было.

Муся терпеть не могла Николая Фомича. Он как-то даже пытался за ней поухаживать. Она некрасиво скривила губы и сказала лениво:

— Идите к черту!

Николай Фомич изобразил улыбку на круглом лице, забегал глазками по комнате, будто стараясь выяснить, какое впечатление произвели слова Муси.

Анна Ивановна сделала вид, что ничего не слышит. Виктор благодарно поглядел на Мусю. Николай Фомич пробормотал что-то насчет войны, нервов, злых характеров и отошел к своим оранжевым чемоданам.

Он часто беседовал с Сашей. Однажды, делая заинтересованный вид, спросил:

— Каковы ваши планы? Что будем подделывать?

Саша почему-то смутился и, низко наклонив золотоволосую голову, ответил:

— Квалификацию свою потерял за войну. Фрезеровщик я, а у нас на заводе станки новые. В автогенщики думаю переквалифицироваться. Также шофером в армии научился.

Николай Фомич подхватил:

— Во, во! Шофером! Это дело. Это живое дело. А фрезеровщик — ересь.

Он курил вонючую махорку, вставляя самокрутку в зеленый мундштук, похожий на наконечник клизмы.

— Профессия должна иметь редкость в своей основе. Тогда и сыт и пьян будешь, — добавил он кашляя.

Саша ничего не ответил.

Виктор виделся с товарищем редко, потому что допоздна засиживался в университете. Забегая за чем-нибудь домой, успевал заметить, что Саша грустит. Первый месяц после демобилизации, который полагался для отдыха, был на исходе.

Саша бродил по комнатам, зевал, принимался за что-нибудь по хозяйству, быстро бросал. Однажды он признался:

— Я вот думал, приеду домой и трудно будет: квартиры нет, мать — старуха, сестра без мужа. И все думал, как будем жить, с чего начнем. А приехал: мать даже помолодела. Муся тоже работает, самостоятельная стала. Мишка растет — племянник.

Он улыбнулся доброй улыбкой, но быстро согнал ее с лица.

— А вот чего-то я не найду. Чего-то недостает. И мать, как назло, все без меня сделала: и печь поставила, и погреб починила. Выходит, что я так, без пользы болтаюсь.

Помолчав, он убежденно сказал:

— Мне бы на сверхсрочную остаться. К армии привык.

Виктор не спеша обдумывал его слова. Во многом он понимал Попова, особенно насчет армии. Тяжести войны забывались, оставалось только хорошее: дружба людей, завоевавших победу. И все-таки с Сашей трудно было согласиться. Наверно, потому, что он, Виктор, вошел в университет как свой, как хозяин. Будто не было четырех лет, разлучивших его с наукой. Когда он в первый раз после войны перелистал книги и старые конспекты, у него было ощущение встречи с друзьями.

Первая лекция показалась ему праздником. Это была лекция по общей физике. Курс читал специалист по физике металлов профессор Деревянко. Он заведовал кафедрой твердого тела. Но преподавателей в университете не хватало, многие находились еще в армии, не успели демобилизоваться, и Деревянко согласился временно читать общую физику.

Возбужденный лекцией Виктор вышел в перерыве покурить.

— Как это все-таки здорово! — сказал он, хлопая Бориса по плечу.

— Говорят, до войны Деревянко читал интересней.

— Да я не об этом! — махнул рукой Виктор. — Ты понимаешь, снова лекции, снова университет!

Снова университет. В окнах аудитории сумрачное осеннее небо. Видны крыши соседних домов, верхушки деревьев с оранжевыми листьями. С каждым днем все меньше и меньше листьев. Впереди — зима, самое время заниматься. Иногда на лекции, на минуту отрываясь от конспекта, Виктор вспоминал военные годы. Когда-то давно, в сорок первом, в сорок втором или в сорок третьем, где-то в землянке или блиндаже он представлял себе это небо, эти огни в сумерках, аудиторию, голос профессора. Тогда казалось, что самое большое счастье — вернуться в университет. Теперь, в минуты случайной досады, когда дело не кленлось, Виктор напоминал себе: «Это счастье. Это то, о чем я мечтал».

Но что-то новое неудержимо влекло вперед: «Вот сдам экзамены — тогда будет счастье... Отстроят общежитие, поселюсь с ребятами — тогда будет счастье... Окончу опыты в лаборатории, напишу курсовую работу — тогда будет счастье...»

После лекций, если не предвиделось никаких дел в профкоме, Виктор уходил в библиотеку. Его не покидало радостное чувство — возможность провести остаток дня за книгами. Он говорил Ивневу, мечтательно глядя в его насмешливые глаза:

— Ты не понимаешь, Борис, что значит — четыре года! Четыре года моей профессией была война. У меня теперь главное — наверстать время.

— До экзаменов далеко, — отвечал Ивнев весело. — Пойдем-ка, поглядишь, какой я радиоприемник соорудил.

Нет, надо просмотреть свежие записи лекций, разыскать статьи, порекомендованные Деревянко, после обеда — в лабораторию, и все — скорее, скорее. Наверстать, наверстать!

— Вот послушай, что мне нужно сегодня сделать, — Виктор с удовольствием загибал пальцы перед самым носом Бориса: — во-первых... во-вторых... в-третьих...

Ивнев шутливо заметил:

— Бюрократический у тебя характер. Планы любишь. Резолюции.

— Организованность, — поправил Виктор спокойно.

А у Ивнева часто сменялись увлечения. То юн неделями просиживал за новой моделью радиоприемника, то погружался в английскую грамматику, то подряд несколько вечеров ходил в театры.

— Хочу оценить все, — объяснял он, потирая узкие ладошки.

Борис чаще всего шутил, а с Черкашиным серьезно заговаривал только о физике. Разминая пальцами папиросу, он сказал как-то:

— Из тебя, Виктор, исследователь не выйдет. Ученый должен быть скептиком.

Он любил анекдоты. Рассказывал в лицах, копируя известных комических актеров. Вспомнил, как Гольдберг однажды попросил его посмотреть, что случилось с электричеством в его квартире. Оказалось — перегорели пробки.

— Вот вам и физик, — добавил он назидательно. — Вот вам и чистая теория.

Нина, однокурсница Ивнева и Черкашина, сердито вмешалась:

— По-твоему, Гольдберг не знает, что такое короткое замыкание? И не умеет сменить предохранители? Нет, Борис, все ты выдумал. Все неправда.

— Зато смешно, — сказал Ивнев самодовольно.

Нина за все бралась: за организацию спортивного

соревнования, за самостоятельность, за кружок международной информации, за доклад на торжественном собрании.

Виктор привык к тому, что потом она жаловалась. Поправляя коричневые волосы круглыми, полными руками, она однажды сказала:

— Ну, разве можно так? Ну, разве можно нести столько нагузок?

— Откажись, — ответил Виктор спокойно. — Скажи на бюро — снимут.

Нина ни от чего на бюро не отказывалась. Потом она объяснила Виктору:

— Это очень весело, когда много работы. Разве ты не замечал?

Она очень любила сообщать Виктору о выполненных поручениях. Вот и теперь, глядя на него блестящими карими глазами, Нина сказала:

— Товарищ начальник! Докладываю. Решение профкома выполнено. В госпитале была.

Речь шла о том, чтобы взять шефство над одной из палат госпиталя для инвалидов Отечественной войны. Это была идея Виктора: связаться с госпиталем и помогать всем курсом, чем смогут. Он попросил Нину рассказать подробнее.

— Ну вот. Я и еще девочки наши пришли. Лежит один. Фамилия Чемезов. У него припадки. Ну, сказали ему: «Вот мы над вами шефство взяли».

— А он?

— А он нас выгнал.

— И правильно сделал. Не с того конца начали.

После лекций Черкашин сам зашел в госпиталь. Было уже поздно, посетителей не принимали. В регистратуре сообщили, что Чемезов лечится пятый месяц. Был несколько раз ранен. Прогрессируют эпилептические припадки. Родных нет: погибли во время оккупации. Моральное состояние тяжелое.

— Должна вас предупредить, товарищ, — заметила регистраторша: — больной заявил начальнику госпиталя, чтобы никого не пускали, что это его нервирует.

— Понятно, — ответил Виктор и вышел.

Сумерки были наполнены невидимым дождем. В траве городского сада желтели пятна опавших листьев. Листья лежали на асфальте, листья косо летели вниз между сырыми стволами деревьев, листья чернели, приклеенные дождем к белой балюстраде.

Судьба Чемезова заинтересовала Виктора. Было досадно, что Нина сразу испортила дело. Черкашин решил сам повидаться с Чемезовым. Конечно, они найдут общий язык. Они солдаты. И это случайность, что он, Черкашин, здоров и что его рана оказалась пустяковой. И он мог остаться калекой. И он бы лежал в госпитале, и к нему бы пришла Нина. А Нина красивая девушка. Может быть, она и не очень красивая. Но с ней легко. У нее сильные маленькие руки. Приятно, должно быть, когда такие руки касаются твоих рук, твоего лба.

Мимо прошла девушка в синем пальто. Лицо ее было скрыто зонтом. Рядом с ней — парень в черном блестящем плаще. Девушка внезапно остановилась, шумно закрыла зонт и сказала парню сердито:

— Ну вот. Дождя уже нет. До свиданья.

И побежала к трамваю.

Парень постоял с минуту, как будто в нерешительности. При свете фонаря Виктор узнал Володю.

Володя учился на филологическом факультете. Черкашин знал его еще до войны. Теперь Володя был на последнем курсе. Его не взяли в армию, потому что у него было большое сердце, и он продолжал учиться в эвакуации.

— Привет! — сказал Володя, протягивая папиросу. — Я вот никак курить не брошу. А врачи ругают. Да черт с ними, живем один раз. *Sagre diem...* А у меня неудача.

— Неудача? — переспросил Виктор.

— Познакомился с девушкой. Приятная особа. Попросил поделиться зонтом: ведь дождь. Так вот на тебе: дождь кончился!

Они пошли рядом. На мокром асфальте мутно отражались вспыхнувшие фонари.

— Люблю осень, — говорил Володя. — И хорошо, когда она болдинская. А я вот ни черта не делаю, не

занимаюсь. Погода действует. Вот как об осени писали: «Я помню осень в полусвете стекол...»

Они шли мимо тускло освещенных витрин магазинов, мимо домов с заколоченными фанерой окнами, мимо каменных стен, в провалах которых мерцало мокрое небо. На углу за деревянным некрашеным забором стучали молотки, и подъемный кран тащил вверх железную балку.

Стало светло, как днем, — это грузовая машина свернула к стройке. Кто-то закричал из ворот:

— Двадцать пятая? Порядок. Тридцать машин — и хватит.

К грузовику подбежали люди и стали быстро выгружать из кузова мокрый кирпич.

Володя громко читал стихи. Он постоянно читал стихи: на улице, в коридорах университета, везде и всем. Виктор тоже любил стихи. Но не всякие. И никогда их не декламировал. Вслушиваясь в монотонный голос Володи, он вдруг подумал, что Володя стихов не любит. Виктору казалось, что стихи — особая откровенность, для которой нужно одиночество или настоящая дружба. Он заметил пренебрежительно:

— Гляди по сторонам. Из-за поэзии еще, чего доброго, под машину попадешь.

— Знаешь, как бывает у алкоголиков? — спросил Володя. — Они фюмку выпьют — и шатаются. Вот и я так пропитался стихами, что для меня достаточно строчки — и я пьяный.

— Неудачное сравнение, — сказал Виктор.

Володя докурил и швырнул папиросу под ноги.

Тротуар быстро высыхал: дул теплый западный ветер. Огонек окурка несколько секунд катился впереди. Потом Виктор догнал его и притушил ногой.

— Ты всегда так, — сказал Володя обиженно. — Пускай бы огонек горел: красиво. А ты его ногой, прозаик.

— Стихи — как признание в любви, — ответил Черкашин, думая о своем. — Их нужно носить в себе, а не разбрасывать по сторонам.

Володя торопливо сунул Виктору руку, отвел глаза в сторону и, шурша плащом, ушел в боковую улицу.

«Обиделся, — подумал Черкашин безразлично. — Что ж, пускай обижается».

Прошел трамвай. Вспыхнули искры на проводах, и кусты в сквере сделались серебристыми.

Виктор попробовал сосредоточиться. До ночи предстоит сделать многое. Но мысли невольно возвратились к Володе.

Вот прошла война. Все возмужали за это время, а Володя остался прежним. Хандрит. Еще до войны он писал стихи и даже печатался. Тогда все его называли поэтом. А теперь получилась какая-то заминка, и Володя снова стал просто студентом.

Конечно, нужно поговорить с ним, расспросить. А может быть, это нескромно — вмешиваться в чужую жизнь? Не такие уж они друзья, просто товарищи по университету. Впрочем, почему же нескромно? После войны все стало иным: люди сделались крепче, дружба горячее. Володе надо помочь, хотя характер у него, кажется, неважный.

Виктору вспомнилось длинное университетское собрание еще до войны, на первом курсе. Тогда отчитывался секретарь комсомольского комитета Федя Карпенко. Потом были перевыборы. Срые ветки тополей с набухшими почками качались на уровне четвертого этажа. Внезапно хлынул первый весенний ливень.

В вестибюле сидела пожилая женщина с плоским, густо напудренным лицом, — Володина мать. Она ждала сына с зонтом и калошами. Володя встретил ее недовольными словами:

— Взяла бы такси, и калош не нужно было бы.

Володин отец был известный в городе врач. Володя жил дома, а в общежитие только навещался, как гость. Он франтовато одевался, любил щегольнуть деньгами, по дороге из университета угощал девушек пирожными и газированной водой.

Последнее время Володя стал плохо учиться. По истории русского языка получил даже двойку. Он оправдывался, презрительно поджимая толстые губы:

— Мертвое дело. Юсы разные. Кому это нужно?